

Надо сказать, еще в мае сорок третьего я был приглашен в Москву в один из отделов НКВД, где меня хорошенько проинструктировали. Мне объяснили, что люди, с которыми придется работать, хоть и очень серьезные ученые, но... «враги народа», а потому с ними надо быть осторожным. Обращаться к ним

следует только по имени и отчеству и слово «товарищ» не употреблять. Разговаривать можно только на служебные темы.

С первого дня знакомства Глушко и Королев произвели прекрасное впечатление: интеллигентные, приятные, спокойные. Особенно понравился Глушко. Он никогда ни на кого не повышал голоса, хотя

был очень требовательным, целеустремленным. В конце сорок четвертого все трое были реабилитированы, но какое-то время еще оставались в ОКБ.

Ничего не могу сказать об их личной жизни, потому как разрешено было общаться только на служебные темы, но однажды, будучи в казанском горкоме пар-

тии, познакомился с техническим секретарем по фамилии Глушко. Не удержался и спросил Валентина Петровича, кем приходится ему эта женщина. Он ответил: «Мать моей дочери...»

В сорок пятом, когда все трое уезжали в Москву, Валентин Петрович предложил мне ехать с ним: его назначили начальником очень большого и важного КБ в Подмоскowie. Конечно, надо было ехать, но... Тут должен рассказать о своей женитьбе.

Попав в Казань, в редкие часы отдыха — работали и в выходные — был одинок. Жил в какой-то общаге. В одно из воскресений, когда был свободен вторую половину дня, ехал в центр города и встретил бобруйского соседа. Фамилия соседа была Горштейн. Мы никогда не притягивались к этой семье — просто раскланивались, но здесь бросились друг к другу, как родные. Горштейну с женой и двумя дочерьми удалось эвакуироваться. Попали в Казань. По дороге жена чем-то серьезным заболела и умерла. С девочками он жил на частной квартире, работал в какой-то артели. По возрасту был непризывным.

Горштейн привел меня в маленькую чистенькую комнатку около казанского базара, и я оттаял душой. На минутку показалось, что нет войны, а есть старый, тихий и очень уютный Бобруйск. Теперь, как только выдавались свободные минуты, а выдавались они редко, бежал к Горштейнам. Девочки — Муся и Нюся — были молоденькими: Мусе — девятнадцать, Нюсе — шестнадцать. И однажды это случилось. Как, почему — не знаю. Был как в чаду. Горштейна и Нюси дома не было.

Отец еще давно, до войны — мне было пятнадцать, — объяснив по-мужски, что и как, сказал: «Смотри, Яков, испортишь девушку — женись!» Не знаю, испортил

ли я девушку — ничего в этом не понимал, это было в первый раз, но, отрезвев, понял, что должен жениться. В следующий приход к Горштейнам сделал официальное предложение, которое было тут же принято. Случилось все в сорок третьем, а в сорок четвертом уже родился мой первенец Вовка. Сейчас моему сыночку было бы шестьдесят. Было бы...

Тосковал ли по Яне? И да, и нет. Жизнь, а главное, работа не давали продыху. Уже после войны случайно узнал, что Яна уехала с родными в Польшу. Почему в Польшу, не знаю. Но при Гомулке почти все евреи оттуда бежали. Где она, жива ли — тоже не знаю. Только когда слышу романс:

Сад весь умыт был весенними ливнями,
В темных оврагах стояла вода.
Боже! Какими мы были наивными!
Как же мы молоды были тогда —

очень сжимается сердце, вижу берег Березины и стройную, как тополек, девочку с бело-розовой мраморной кожей...

Надо было ехать с Глушко, обязательно надо. Но Муся подняла плач и сказала: «Яша, их только-только освободили. Неизвестно, что будет завтра. Ты еврей. Все шишки будут на тебя. Ты хорошо получаешь (я действительно хорошо по тому времени зарабатывал). Если что случится, что буду делать одна с Вовкой — без образования, без специальности?»

Слезы жены остановили. Решил ничего не менять, но как же, как же потом раскаивался...

В конце сорок третьего моим начальником, то есть военпредом, стал некто Павлов. По диплому был инженером, но инженером плохим: до назначения в ОКБ работал в Китае, в посольстве. А вскоре произошел такой случай. На длительных испытаниях опытного поршне-

вого двигателя М-1 разрушился промежуточный валок привода механизма газораспределения. Пришлось заменить правый блок мотора. Я доложил обо всем Павлову, он — старшему военпреду, но в своем докладе все перепутал и сказал, что сломался промежуточный валик привода нагнетателя. Чтобы неспециалисту было понятно, объясню: Павлов заявил, что сломалась ножка стола и для ее восстановления нужно заменить столешницу.

Старший военпред доложил обо всем в Москву, меня вызвали в министерство и, выслушав, назначили на место Павлова. Тогда понял: некомпетентность все-таки наказуема...

А между тем работа в ОКБ шла своим чередом, были успешно проведены испытания — стендовые и летные — ускорителей, созданных Глушко. В полете с работающим двигателем РД-1 скорость самолета «Пе-2» увеличилась на 100 километров в час. Двигатели были направлены в Москву и установлены на самолетах «Як-7» и «Ла-5». На аэродроме после успешных наземных запусков ракетных ускорителей, установленных на истребителях Яковлева и Лавочкина, мы приступили к летным испытаниям, но из-за технических неполадок дело не пошло, и двигатель был срочно возвращен на доработку в КБ Глушко. Эфировоздушную систему зажигания заменили химической системой самовоспламенения. Все это проверили на стендах и потом в полете на самолете «Пе-2». Все состоялось, и нас даже наградили: Глушко — орденом Красного Знамени, меня — орденом Красной Звезды, ведущему инженеру Сергею Павловичу Королеву дали только орден «Знак Почета».

Мы работали на самом сложном участке авиационной промышленности. Сложней не

было. А потому удачи чередовались с неприятностями. Покой нам только снился... Так, однажды при испытаниях двигателей РД-1 на земле два двигателя вдруг взорвались. Тут же нас с Глушко вызвали в Москву, на ковер. Лавочкин принял хорошо, даже накормил. А вот к Яковлеву Глушко отправил меня одного, и я, лейтенант, предстал перед генерал-лейтенантом.

Посмотрев на меня, Яковлев заявил: «Вас надо посадить...» Я ответил: «Товарищ генерал-лейтенант, надо еще разобраться, кого...» Конечно, тут же был выдворен из кабинета...

Хочу добавить: Яковлев был тогда личным консультантом Сталина по самолетостроению и считался очень крутым человеком. Глушко, видимо, знал его нрав и не захотел лишний раз подпадать под «монарший гнев».

Ну а двигатели РД-1ХЗ потом еще и еще раз испытывали на земле, затем установили на «Ла-5» и «Як-7», и они успешно показали себя в воздухе. Максимальная скорость самолетов возросла на 140 километров в час.

Я уже говорил, что в начале сорок пятого Глушко уехал к месту новой работы в Подмосковье. Еще до отъезда звал с собой. А потом уже из Подмосковья опять еще несколько раз приглашал и предлагал должность руководителя всех его лабораторий и испытательных стендов, где проверялись выпускаемые ускорители, точнее, маршевые ракетные двигатели, с помощью которых ракета или спутник выводились на орбиту. Не знаю, правильно ли поступил, послушавшись жену, но то, что меня сейчас не было бы в живых, — это точно. Я бы погиб вместе с маршалом Неделиным при пуске ракеты, которая взорвалась при взлете. Это случилось в тысяча девятьсот шестидесятом.

При внедрении новой авиационной техники люди ожидают огромные опасности. Поэтому вначале все проверяется на земле, на стендах. Производители продукции, конечно же, всегда заинтересованы сдать ее в назначенный срок. Я, военпред, приемщик, должен был, прежде всего, стремиться к тому, чтобы продукция была безупречной по качеству. На этой почве у нас с Глушко были некоторые размолвки. Но потом, позже, понял: в Казани он был подневольным, и ему надо было как можно быстрее показать товар лицом. А потому никакой обиды у меня, конечно, не осталось.

В сорок седьмом — сорок восьмом дважды направляли под Самару для проведения внутризаводских испытаний мощного турбовинтового двигателя. Был назначен и. о. старшего военпреда. Должность была полковничьей. Я же был капитаном. В это время уже хорошо знал, что еврей-офицеров, работающих с секретной техникой, сплошь и рядом без всякого объяснения переводили в восточные районы страны с понижением штатной категории. По ВЧ позвонил в Казань своему начальнику подполковнику Триносу и сказал как на духу, что кадровики не оставят в покое на столь секретной и столь высокой должности, а потому хочу вернуться в Казань. Тринос был хорошим мужиком и хотя в подпитии мог стрелять в потолок и кричать «бей жидов», ко мне относился по-доброму, в обиду не давал. Я вернулся в Казань — военпредом по опытному строительству газотурбинной техники.

Часто бывая в Москве, созванивался и виделся с однокашниками по академии. Многие, очень многие уже работали на престижных высоких должностях, хотя учились хуже меня. Но они не были евреями...

Очень тянуло к научной и учебной работе, и однажды началь-

ство спросило, не готов ли вести дипломников в КАИ — Казанском авиационном институте. Несмотря на загруженность, с радостью согласился, хотя материальное вознаграждение было мизерным. Но об этом как-то даже не думал. Впервые пришел на кафедру не как студент, а как преподаватель, и быстро вошел в коллектив. Завкафедрой тут же предложил тему для кандидатской диссертации. Я был счастлив.

Продолжая службу, занимался приемкой опытных образцов новых ракетных двигателей. Пришлось самостоятельно, при отсутствии учебников, овладевать теорией ГТД — газотурбинных двигателей, обучать военных представителей серийных цехов теории и конструкции двигателей РД-20, устанавливаемых на самолетах «МиГ-9». Вместе с тремя выпускниками «Жуковки» — авиационной академии имени Жуковского, прибывшими на военную приемку завода, написал первый учебник по теории ГТД. Потом, сразу скажу, мною и моими соавторами было написано несколько книг по теории авиационных двигателей, некоторые были переведены на польский, китайский и французский языки.

Перечень изданных работ, их серьезность говорят о том, что мог бы, наверное, вполне претендовать уж если не на докторскую, то хотя бы на кандидатскую степень. Но этого не случилось. Почему — позже. А сейчас включите свою «адскую машинку»: будем или обедать, или ужинать. Уж не знаю...

* * *

Проговорили вчера много часов, а сказать надо еще немало. В пятидесятом мне было присвоено звание инженер-майора, и я получил хорошую двухкомнатную квартиру. Квартиры

тогда давали бесплатно. У меня уже было двое пацанов. Жена сидела с ними, но на жизнь в дорожной Казани нам все-таки хватало. Причин для печали и беспокойства не было. Потому то, что вскоре разразилось, было громом среди ясного неба.

В марте пятьдесят второго срочно вызвали в Москву, в отдел кадров, и сказали: переводитесь под Киев, в Васильков, преподавателем военного училища. Вначале остолбенел: военный человек, готов был ко всяким неожиданностям, но преподавателем среднего учебного заведения... Училище готовило средний технический состав, выпускало техников-механиков по обслуживанию военных самолетов. Я знал, что, начиная с сорок восьмого года, а может, и раньше, началось массовое изгнание военных-евреев, работавших с секретной техникой. Но как-то не хотел думать, что это может коснуться и меня. На подъем дали неделю. В начале апреля мы уже были в Василькове.

Молодые люди могут спросить, почему не уволился из армии. Сейчас это достаточно просто. Отвечаю. В пятьдесят втором, когда это случилось, уволиться из армии можно было только по болезни. Выгоняли за провинности. Я был здоров, а совершать какой-то проступок было не в моих интересах: из квартиры тут же бы выпрыгнули. Да и не мог я этого сделать!.. А потому должен был подчиниться обстоятельствам. Советская власть очень больно била, а плакать не давала...

Было ли обидно? Не то слово. Был обалдевший: за что? Знал свой потенциал, знал, что запрограммирован на многое. Работая рядом с Глушко, понимал, что мои профессиональные качества чего-то стоят. И вдруг — так опустить. За что? Только это стучало в голову. Ну и что, что еврей? Чем хуже другого? Какой смысл

государству так издеваться? Кто от этого выигрывает? Вопросы жгли и жгли по ночам; в суматохе дня об этом некогда было думать.

С обывательской точки зрения васильковское житье было даже лучше: маленький сытый городок близ Киева. Цены на несколько порядков ниже. Дали жилье — две комнаты в трехкомнатной квартире. Я даже начал копить деньги на машину. Но... мой интеллект оставался абсолютно не востребованным: это как если бы профессор медицины занимался только тем, что делал больным уколы. Вот тогда, подрядив еще нескольких преподавателей-евреев, тоже сосланных сюда из других городов из высших военных училищ, начал писать книжки. Но своими соавторами брал, конечно, не только евреев.

Служба в Василькове продлилась двадцать три года. Стал начальником цикла — это как бы начальником кафедры. Мне присвоили звание полковника. Но способности мои оставались невостребованными, и то, что мог дать обществу, осталось неиспользованным. Кто от этого выиграл? И почему это произошло?

После демобилизации еще семнадцать лет читал ребятам «Детали машин». Никогда не пользовался никакими конспектами — память была хорошая. Теперь уж совсем ослабела — вот только стихи и запоминаю.

Девяносто шестой год оказался поворотным. Не дожив до семидесяти трех, скончалась Муся — жена. Мучилась недолго: инсульт. И в конце этого же года уехал в Израиль младший сын Саша.

С ребятами особых проблем не испытывал: росли послушными, не хулиганами. Но младшему, Саше, не повезло: врачи «перекормили» стрептомицином, когда ему был годик, и он почти совсем оглох. Когда пошел в школу, всегда

сидел на первой парте, но почти ничего, что объяснял учитель, не слышал. Помочь ему ничем не мог: с восьми утра до восьми-девяти вечера был в училище. Суббота тоже была рабочей. Воскресенье — единственный день, когда шли или ехали на рынок, по магазинам. В те годы в Василькове мало что можно было достать: приходилось ездить в Киев. Муся с ее образованием тоже не была помощницей. Слуховые аппараты были плохими, да и стеснялся Сашка их носить. Потому и остался недоученным, но руки с малолетства были золотые. Кое-как окончив школу, пошел токарем на завод, и вот тут его звезда засияла: до отъезда в Израиль не слезал с доски почета: самые сложные заказы отдавали ему.

Почему сын уехал в Израиль? Во-первых, подбивала жена: вся ее родня уже уехала. Ну а потом однажды сказал, что не хочет, чтобы из-за пятого пункта Димка — его сын, мой внук — пострадал так, как пострадал я или наш Вовка. Вовка — мой старший сын, о нем еще расскажу. Что мог ему ответить? Сказать, что антисемитизм уже кончился?

Саша уехал и живет около Иерусалима. Работает токарем-фрезеровщиком. Имеет четырехкомнатную квартиру, хорошую машину, хотя Софка, его жена, бухгалтер, работает уборщицей, а сын Димка оказался пентяем и, видно, неспособным.

Со старшим сыном, Владимиром, судьба сыграла злую шутку. Он хорошо учился, хотя отличником не был. Годы — в смысле учебы — были тяжелыми: тогда еще устраивали не за деньги, а по благу. Я решил: пусть окончит Васильковское училище, получит среднее техническое образование, лейтенантские погоны, послужит, а потом — в академию. Все со мной согласилось. После окончания училища сына распредели-

ли в летнюю воинскую часть в тот город, где сейчас мы с вами находимся.

Отлично прослужив три года, попросил направление в академию. Ответили отказом, придумав какую-то совершеннейшую чепуху. Он обратился еще семь раз! Отказы. Последний раз, когда кадровик пригласил его к себе и положил личное дело на стол, сын вдруг увидел на папке нарисованную синим карандашом огромную букву «Е». Сначала ничего не поняв, Володя уставился на папку, но кадровик, тотчас сообразив, быстренько перевернул ее так, чтобы буква стала не видна.

Вова прослужил весь положенный срок, в чине майора вышел на пенсию, устроился на работу, но стал таять. Когда просили его пойти к врачу — сердился. В конце девяносто седьмого умер от скоротечного рака пищевода — так объяснили врачи. За месяц до его смерти, продав васильковскую квартиру и купив эту однокомнатную, я переселился с Украины в Подмоскowie.

* * *

Утомил вас своим рассказом, но ведь сами просили говорить обо всем. Вот и говорю.

Если позволите, ненадолго вернусь в войну. Перед ее началом отец мой был направлен под Брест на строительство подземных аэродромов: был строителем-прорабом. Ему было пятьдесят, и был он крепким, мускулистым человеком. Мама с сестренкой оставались в Бобруйске: мама работала, сестра оканчивала девятый класс. Я, как уже говорил, учился в Ленинграде. Двадцать второго июня сорок первого началась война, а уже двадцать шестого немцы заняли Бобруйск. Под проливным пулеметным дождем мама и сестра дошли до Рогачева. Река людей, направлявшихся на восток,

была нескончаема: на семьдесят процентов население Бобруйска состояло тогда из евреев, а они уже знали, что сделал с евреями Гитлер в Польше и других странах Европы, и не могли оставаться под немцами.

Двадцать шестого июня, когда немцы вошли в город, отец добрался из Бреста до Бобруйска, но жену и дочь не застал. Квартира была разграблена, все перевернуто. Рассказали обо всем потом соседи по двору — русские. Грабили, конечно, не немцы — они еще только маршем прошли по Социалистической улице. Сделали это свои.

Отец какое-то время оставался в доме, решив собрать хоть немного вещей, а в этот момент Иваниха, уже отловив каких-то двух немцев на мотоцикле, вела их к нашему дому со словами «юде, юде». Это видели русские соседи.

Немцы управились быстро: схватив и отведя отца чуть в сторонку, несколькими выстрелами из автоматов положили на землю. Его, бывшего красного конника, человека очень сильной воли...

Почему отец не вырвался, не побежал? Наверное, во-первых, потому, что от мотоциклистов он бы все равно не убежал, во-вторых, видно, не думал, что вот так — только за то, что еврей — запросто положат. Кто знает, что промелькнуло в этот миг в его голове? Он был убит и неизвестно где зарыт: на следующий день, как сказали те же соседи, трупа во дворе уже не было, а Иваниха продолжала жить и, как сказали соседи, ее видели в чем-то из маминого гардероба...

Кто такая Иваниха и почему так поступила? Жила эта женщина на «задах» в покосившемся домишке с сыном-пьяницей. Когда сын напивался и бил ее, она орала на весь двор. Соседи привыкли и не реагировали. Видно, особая за-

висть была у нее к нашей семье: отец был трезвым, неплохо зарабатывал, работала и мама. Зависть, подлая зависть к нормальным людям жгла эту люмпенку, и вот, наконец, настал ее «звездный» час. Только почему, спрашиваю, мозги ее были повернуты в сторону убийства? Да потому, что произвела она на белый свет подонка. Значит, еврей был виноват, что родилось это «сокровище».

Не стал, сводить с нею счеты, хотя надо было. Оставляя зло безнаказанным, способствуем сотворению нового. Уехал из Бобруйска, пробив в нем только сутки, и больше никогда в этот город не возвращался.

Мама с сестрой, пройдя все круги ада эвакуации, попали в Ленинград — блокада уже была снята. Сестра, сдав экстерном экзамены за десятый класс, поступила в медицинский, мама работала комендантом общежития в этом же институте. Им дали восьмиметровую комнатку. Жили на крохотную мамину зарплату и сестрину стипендию. По случаю досталась швейная машинка: мама начала прирабатывать шитьем. Я нашел их в Ленинграде в начале сорок четвертого. Сестра и мама никогда не разлучались. Наверное, мама не дождала бы даже до своих пятидесяти восьми, если бы не лечение и уход, которые получала от дочери-врача. Сейчас сестра — тоже уже старый человек — в ближнем зарубежье. Муж ее умер, и с дочерью — нездоровым человеком — им живется очень тяжело. Помочь не могу: моей пенсии, хотя она и военная, хватает только на квартиру и еду. Сэкономить, чтобы послать, получается не всегда.

И еще пока не забыл. С Валентином Петровичем Глушко долго поддерживал связь — почти до самой его смерти в семьдесят

девятом. Всякий раз, как выходила у меня новая книжка, посылал. Конечно, понимал, что ему, академику, ставшему таким известным, все это, наверное, ни к чему, но отчитаться хотелось. Он никогда не оставлял мои посылки без внимания.

Спрашиваете, как к Сталину отношусь? В далеком тридцать пятом — мне было пятнадцать — пропел при отце частушку:

Огурчики да помидорчики —
Сталин Кирова пришел в коридорчике...

Услышав, отец подошел и дал по шее, правда, небожно. Сказал: «Услышу еще раз — голову оторву». Больше повторять не нужно было, хотя сам, когда выпивал рюмочку наливки, говорил, прикладывая два пальца ко лбу: «Цвей фингер, цвей фингер...» То есть «два пальца, два пальца...» Понимая, кого он имеет в виду, мама шипела, как гусыня, а мы с сестренкой только переглядывались. Так что теперь, когда заявляют, что народ любил Сталина, не верьте. Ложь это. Боялись — да. Очень боялись. До смерти боялись. Но любить?..

В сорок восьмом, когда начались послевоенные процессы, я все понял про него окончательно. А то, что происходит сейчас в отношении его личности, можно объяснить опять же стихами Губермана:

Висит от юга волосатого
До лысой тундры ледяной
Тень незабвенного усатого
Над заколдованной страной...

Наша элита в большей степени ориентирована вовне. У нее вне страны деньги и активы, вне страны — репутация, вне страны учатся дети, вне страны рождают жены. Их безответственность распространяется подобно лесному

пожару и становится стилем жизни всего общества. Мнение народа до нее не доходит, а потому часто кажется, что идем в то будущее, которое обрисовали Оруэлл и Замятин.

Что делать? Мы — пока сырьевая база. Чтобы иметь возможность удержать сырье, нужно развивать технологии. А что значит развивать технологии? Чтобы вырастить одного хорошего авиаконструктора, нужно иметь миллион студентов. Это не я придумал. Это статистика: и наша, и европейская, и американская.

Гражданское авиастроение — дальне- и среднемагистральные пассажирские самолеты. Сейчас примерная емкость российского рынка — двести машин. Этого недостаточно даже для одного нормального авиазавода. Значит, чтобы иметь гражданское авиастроение, нужно не просто свой рынок защитить, но и соседние рынки себе вернуть. А задача не ставится даже на уровне удержания собственного рынка. Считается, она противоречит идеям либерализма.

У нас ни по одному направлению нет хорошо продуманной и четко прописанной стратегии. Разруха везде: и в коммуналке, и в голове. А самое главное — государство не обеспечивает прав собственников. Пока собственность не защищена, пока существуют криминальные банкротства, инвестиции не пойдут. Ну а отсюда и все экономические проблемы.

Наш век — век развитых технологий, век экспорта высокотехнологичной продукции. Мы же все держим какую-то фигу в кармане и продолжаем кричать: «Самые, самые...»

Нам нужна стабильность. Но не стабильность Мугабе, а стабильность Рузвельта и Эйзенхауэра. Не нужно, как сказал Тютчев, иметь «чувство затаенной злости

на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир». Вот когда все это поймем, может, что-то начнет меняться.

...Ну что, милая, получилась какая-то очистительная беседа. Никому ничего подобного никогда не говорил. Как на исповеди, в первый раз. Сумели расположить...

Нет, я не в депрессии. Чтобы обиходить себя, держать в порядке свое маленькое хозяйство, мне уже надо потрудиться. У невестки появился друг, и ей я не нужен. Внук и правнук живут в Москве, бывают редко. Старость — преротивнейшая штука. Мало того, что чувствуешь, как скукоживаешься физически, так еще и желания твои иссыхают. Ощущение такое, будто на тебя панцирь надели. Но смерти не боюсь. Григорий Горин говорил, что смерть очень боится, когда над ней смеются. Пытаюсь...

Чтение, воспоминания о прошлом — вот моя жизнь. Винюся перед женой, хотя никогда ей не изменял. Но стройная девочка с бело-розовой мраморной кожей на берегу Березины не раз приходит в мечтах...

Вообще на земле нет рая. И нет окончательного абсолютного решения ни одного вопроса. Все время надо думать, как жить дальше, что делать заново. А под конец можно еще раз любимого Тютчева?

Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит — и жизнь, как камней
груда,
Лежит на нас, — вдруг, знает бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно
приподнимет...

Да! Дружок мой, Семка Геллер,
жив. В Киеве он.